

Илья Ильф, Евгений Петров Двенадцать стульев

Посвящается Валентину Петровичу Катаеву

12 стульев без цензуры

В тексте романа курсивом выделены разночтения и фрагменты, исключенные из варианта, входившего в ранее издававшееся собрание сочинений Ильфа и Петрова.

Часть первая Старгородский лев

Глава первая

Глава I. Безенчук и нимфы

В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились

и умирали довольно редко. Жизнь города была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальщиков, что это просто мешало ей собирать членские взносы.

Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами, по роду своей службы, он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно, с получасовым перерывом для завтрака.

По утрам, выпив из *причудливого (морозного, с жилкой)* стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу «*Им. тов. Губернского*». Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку, за волнистыми зеленоватыми стеклами, серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные *гроба*, гробовых дел мастера Безенчука. Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «*холю ногтей*» и «*ондулясион на дому*». Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею, на большом пустыре, стоял палевый теленок и нежно лизал

поржавевшую, прислоненную (как табличка у подножия пальмы в ботаническом саду) к одиноко торчащим воротам вывеску:

«Погребальная контора «Милости просим».

Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небольшая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.

Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков.

Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, ходил на старую надгробную плиту. Левый уголок его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N и о генеалогических (или, как шутливо говаривал Ипполит Матвеевич, гинекологических) древах, произросших на скудной уездной почве.

В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит

Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в очках он вылитый Милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием.

— Бонжур! — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели.

«Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года — не шутка и что погода нынче сырая.

Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколотки тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами *и низкими подборами*. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув *с седых (волосок к волоску) усов* оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в

нерешительности *попробовал* шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко стриженным алюминиевым волосам *пять раз левой и восемь раз правой рукой ото лба к затылку* и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще — Клавдии Ивановне.

— Эпполе-эт, — прогремела она, — сегодня я видела дурной сон.

Слово «сон» было произнесено с французским прононсом.

Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до 185 сантиметров. С такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще *Клавдии Ивановне* с некоторым пренебрежением.

Клавдия Ивановна продолжала:

— Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке.

От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками.

— Я очень встревожена! Боюсь, не случилось бы чего!

Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал:

— Ничего не будет, маман. За воду вы уже

вносили?

Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил *свою тещу*. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце. И, кроме того, что было самым ужасным, Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках *и без них*, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему под носом у нее росли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья.

Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления

внутри горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.

— Почет дорогому гостю! — прокричал он скороговоркой, заведя Ипполита Матвеевича. — С добрым утром.

Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятанную кастановую шляпу.

— Как здоровье *вашей* тещеньки, разрешите, *такое нахальство*, узнать?

— Мр-р, мр-р, — неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.

— Ну, дай ей бог здоровычка, — с горечью сказал Безенчук, — одних убытков сколько несем, туды его в качель.

И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери.

У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали.

Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о з доровье тещи.

— Здорова, здорова, — ответил Ипполит Матвеевич, — что ей делается. Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было *обозрение* во сне.

Три «нимфа» переглянулись и громко

вздохнули.

Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело — и уходи», показывали пять минут десятого.

— *Мацист опоздал!*

Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении Мацистом, хотя у настоящего Мациста никаких усов не было.

Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление (параллельно линии стола) и сел на подушечку, несколько возвышаясь над *всеми* тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком.

За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей — мужчина и девушка. Мужчина в суконном, на вате, пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности, строгим плакатом: «Сделал свое дело — и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он

пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель № 2 и дернув щечкой, углубился в бумаги. Девушка в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошептала с мужчиной и, *потая* от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу.

— Товарищ, — сказала она, — где тут...

Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и, неожиданно для самого себя, гаркнул:

— Сочетаться!

Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета.

— Рождение? Смерть?

— Сочетаться, — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам.

Девушка прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и *выдавая* квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал,

усмехнувшись: «За совершение таинства» — и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь (в свое время он нашивал корсет). Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двояковогнутые стекла пенсне пучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки.

— Молодые люди, — заявил Ипполит Матвеевич выпрепно, — позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, оч-чень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно.

Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя № 2.

За соседним столом служащие хрюкали в чернильницы:

— *Мацист опять проповедь читал.*

Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим *делам*. Ровно в полдень запел петух в

кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Потом раздалось металлическое кряканье и клекот мотора. С улицы «Им. тов. Губернского» выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры уисполкомовского автомобиля Гос. № 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ледовитом дыму, а служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам *противоположной стороны площади* осторожно прошел мастер Безенчук. Безенчук целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто.

Наступил узаконенный получасовой перерыв для завтрака. Раздалось полнзвучное чавканье. Старушку, пришедшую зарегистрировать внучонка, отогнали на середину площади.

Переписчик Сапежников начал, досконально уже всем известный, цикл охотничьих рассказов. Весь смысл этих рассказов сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от него нельзя было добиться.

— Ну, вот-с, — иронически сказал Ипполит Матвеевич, — вы только что изволили сказать, что раздавили эти самые две полбутылки... Ну, а

дальше что?

— Дальше?.. А дальше я и говорю, что по зайцу нужно бить крупной дробью... Ну, вот... Проспорил мне на этом Григорий Васильевич диковинку... Ну и вот, раздавили мы диковинку и еще соточкой смочили. Так было дело.

Ипполит Матвеевич раздраженно пыхнул папироской:

— Ну, а зайцы как? Стреляли вы по ним крупной дробью?

— Вы подождите, не перебивайте. Тут подъезжает на телеге Донников, а у него, бродяги, под соломой целый гусь запрятан — четвертуха вина...

Сапежников радостно захохотал, обнажив светлые десны:

— Вчетвером целого гуся одолели и легли спать, тем более на охоту чуть свет выходить надо. Утром встаем. Темно еще, холодно. Одним словом, драже прохладительное... Ну, у меня полишишки нашлось. Выпили. Чувствуем, не хватает. Драманж! Баба двадцатку донесла. Была там в деревне колдовница такая — вином торгует...

— Когда же вы охотились-то, позвольте полюбопытствовать?

— А тогда ж и охотились... Что с Григорий Васильевичем делалось!.. Я, вы знаете, никогда не

блюю... И даже еще мерзавчика раздавил для легкости. А Донников, бродяга, опять на телеге укатил. «Не расходитесь, говорит, ребята. Я сейчас еще кой-чего доведу». Ну, и довел, конечно. И все сороковками — других в «Молоте» не было. Даже собак напоили...

— А охота?! Охота?! — закричали все.

— С пьяными собаками какая же охота? — обижаясь, сказал Сапежников.

— М-мальчишка! — прошептал Ипполит Матвеевич и, негодуя, направился к своему столу.

Этим узаконенный получасовой перерыв для завтрака завершился.

Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне что есть мочи забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью.

В канцелярию вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке, тулупе с косматым воротником. Под мышкой милиционер осторожно держал маленькую разносную книгу в засаленном полотняном переплете. Застенчиво ступая своими слоновьими сапогами, милиционер подошел к Ипполиту Матвеевичу и налег грудью на тщедушные перильца.

— Здорово, товарищ, — густо сказал

милиционер, доставая из разносной книги большой документ, — товарищ начальник до вас прислал, доложить на ваше распоряжение, чтоб зарегистрировать.

Ипполит Матвеевич принял бумагу, расписался в получении и принялся ее просматривать. Бумага была такого содержания:

«Служебная записка. В загс. Тов. Воробьянинов! Будь добрый. У меня как раз сын родился. В 3 часа 15 минут утра. Так ты его зарегистрируй вне очереди, без излишней волокиты. Имя сына — Иван, а фамилия моя. С коммунистическим пока Замначальника Умилиции Перервин».

Ипполит Матвеевич заспешил и без излишней волокиты, а также вне очереди (тем более что ее никогда и не бывало) зарегистрировал дитя Умилиции.

От милиционера пахло табаком, как от Петра Великого, и деликатный Ипполит Матвеевич свободно вздохнул лишь тогда, когда милиционер ушел.

Пора было уходить и Ипполиту Матвеевичу. Все, что имело родиться в этот день, — родилось и было записано в толстые книги. Все, кто хотели обвенчаться, — были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, к явному разорению гробовщиков, ни одного смертного

случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, — как дверь канцелярии распахнулась и на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук.

— Почет дорогому гостю, — улыбнулся Ипполит Матвеевич. — Что скажешь?

Хотя дикая рожа мастера Безенчука и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог.

— Ну? — *сказал* Ипполит Матвеевич более строго.

— «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб — он одного лесу сколько требует...

— Чего? — спросил Ипполит Матвеевич.

— Да вот «Нимфа»!.. Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, *как огурчик*, отборный, *на любителя*...

— Ты что же это, с ума сошел? — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. — Обалдеешь ты среди *своих* гробов.

Безенчук предупредительно *распахнул* дверь,

пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения.

— Еще когда «Милости просим» *были*, тогда верно. Против ихнего газету ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла, туды ее в качель. А теперь, прямо скажу, — лучше моего *товару* нет. И не ищите даже.

Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука *довольно* сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно.

Трое владельцев «Нимфы» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в их лицах, таинственная удовлетворенность, томно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное.

При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову:

— Уступлю за тридцать два рублика.

Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг.

— Можно в кредит, — добавил Безенчук.

Трое же владельцев «Нимфы» ничего не

говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, непрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь.

Рассерженный вконец глупыми приставами гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь *с сапог* и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел священник церкви Фрола и Лавра отец Федор, *пышущий жаром*. Подобрал правой рукой рясу и не *замечая* Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу.

Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, *жена агронома мадам* Кузнецова. Она *зашипела* и замахала руками:

— Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами.

— Я не стучу, — покорно ответил Ипполит Матвеевич. — Что же случилось?

Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты:

— Сильнейший сердечный припадок.

И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила:

— Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю — дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже, ну, я *думала*, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей, *она* давеча собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее...

Мадам Кузнецова долго *бы* еще рассказывала про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.

Глава II. Кончина мадам Петуховой

Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был *в такой моде в 1911 году*, когда дамы носили *платья* «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец *танго*. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок.

— Клавдия Ивановна, — позвал Воробьянинов.

Теща быстро зашевелила губами, но вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло и блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу.

— Клавдия Ивановна, — повторил Воробьянинов, — что с вами?

Но снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок.

В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться.

— Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. Вы, голубчик, вот что. Сходите в аптеку. Нате квитанцию и узнайте, почему пузыри для льда.

Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в *этих* делах.

До аптеки бежать было далеко. По-гимназически зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич, *торопясь*, вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась щедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках *трое хозяев «Нимфы»* и, облизывая

ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал:

— Путаются, туды их в качель, под ногами.

Посреди Старопанской площади, у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли», велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «бог дал, бог и взял».

Парикмахер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся, впрочем, на имя — Андрей Иванович, и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек», *лежавшего обычно на столике его предприятия для услаждения бредущихся граждан.*

— Современная наука, — говорил Андрей Иванович, — дошла до невозможного. Возьмите, скажем, у клиента прыщик на подбородке выскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят, не знаю, правда это или неправда, на каждого клиента отдельная

стерилизованная кисточка полагается.

Граждане протяжно вздохнули.

— Это ты, Андрей, малость *захватил!*..

— Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка! Выдумает же человек!..

Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис даже разнервничался:

— Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей. Так, значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально.

Разговор принимал горячие формы и черт знает до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался *бегущий иноходью* Ипполит Матвеевич.

— Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит.

— Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегаёт.

— А доктор что говорит?

— Что доктор? В стражкассе разве доктора? И здорового залечат!

«Пьер и Константин», давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись *по сторонам*:

— Теперь вся сила в гемоглобине.

Сказав это, «Пьер и Константин» умолк.

Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина.

Когда *луна поднялась* и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спинке можно было ясно разобрать *крупно* написанное мелом краткое ругательство. Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года, в ночь, наступившую непосредственно после *его* открытия, и как представители полиции, а впоследствии милиции, ни старались, хулительная надпись аккуратно *появлялась* каждый день.

В деревянных, с наружными ставнями домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер...

Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы.

Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате, и в голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на

соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук.

— Так как же прикажете, господин Воробьянинов? — спросил мастер, прижимая к груди картуз.

— Что ж, пожалуй, — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич.

— А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает, — заволновался Безенчук.

— Да пошел ты к черту! Надоел!

— Я ничего. Я насчет кистей и глазета, как сделать, туды их в качель? Первый *сорт прима*? Или как?

— Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял?

Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что *гробовой* мастер смертельно пьян.

На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки,

которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться? — подумал Ипполит Матвеевич. — На ком? На племяннице начальника *умилиции*, на Варваре Степановне, сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там! Затаскает по судам. Да и накладно».

Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. *И*, полный негодования и отвращения к своей жизни, он снова вернулся в дом.

Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посмотрела на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.

— Ипполит, — прошептала она явственно, — сядьте около меня. Я должна рассказать вам...

Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее, усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье.

— Ипполит, — повторила теща, — помните вы наш гостиный *гарнитюр*?

— Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень

больным людям.

— Тот... Обитый английским ситцем в цветочек...

— Ах, это в моем доме?

— Да, в Старгороде...

— Помню, я-то отлично помню... Диван, двое кресел, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская... А почему вы вспомнили?

Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах.

Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:

— В сиденье стула я зашила свои бриллианты.

Ипполит Матвеевич покосился на старуху.

— Какие бриллианты? — спросил он машинально, но тут же спохватился. — Разве их не отобрали тогда, во время обыска?

— Я зашила бриллианты в стул, — упрямо повторила старуха.

Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой с *жестяным рефлектором* каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит.

— Ваши *бриллианты*?! — закричал он, пугаясь силы своего голоса. — В стул? Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне?

— Как же было дать вам *бриллианты*, когда вы пустили по ветру имя моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха.

Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть.

— Но вы их вынули оттуда? Они здесь?

Старуха отрицательно покачала головой.

— Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между *терракотовой лампой* и камином.

— Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом и, уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул *стол* и засеменял по комнате.

Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича.

— Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть

может, что они смиренхонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши р-регалии?

Старуха ничего не ответила.

— *Хоть отметку, черт возьми, вы сделали на этом стуле? Отвечайте!*

У делопроизводителя загса от злобы свалилось с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой *своей* дужкой, грянулось об пол и *распалось на мелкие дребезги.*

— Как? Засадить в стул *бриллиантов* на семьдесят тысяч?! В стул, на котором неизвестно кто сидит?!

Но тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тут же упала на стеганое фиолетовое одеяло.

Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к *агрономше*:

— Умирает, кажется.

Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам он ошеломленно забрел в городской сад.

И покуда чета агрономов с *их* прислугой *прибыли* в комнате покойной, Ипполит

Матвеевич бродил по саду, натыкаясь *без пенсне* на скамьи, принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты, *а сверкающие под луной кусты принимая за бриллиантовые кущи.*

В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго-амапа; представлялась ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов; многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые, упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Тулузу...

Но сейчас же Ипполит Матвеевич облился холодом сомнений:

— Как же я их найду?

Цыганские хоры сразу умолкли.

— Где эти стулья теперь искать? Их, конечно, растащили из моего дома по всему Старгороду. По всем этим пыльным, вонючим учреждениям, вроде моего загса.

Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал.

— Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, — сказал он горячо, как бы

продолжая начатый давеча разговор, — *гроб* — он работу любит.

— Умерла Клавдия Ивановна! — сообщил заказчик.

— Ну, царствие небесное, — согласился Безенчук, — преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, — значит, «преставилась»... А, например, которая покрупнее, да похудее — та, считается, «богу душу отдает»...

— То есть как это считается? У кого это считается?

— У нас и считается. У мастеров... Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрете, что «в ящик сыграли». А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, «приказал долго жить». А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят — «перекинулся» или «ноги протянул». Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что «дуба дают». Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал»...

Потрясенный этой, *несколько* странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:

— Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?

— Я человек маленький. Скажут «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут.

И строго добавил:

— Мне «дуба дать» или «сыграть в ящик» — невозможно. У меня комплекция мелкая... А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто так без кистей и глазету ставить будете?

Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча.

Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким, как вафля, льдом. На улице «Им. тов. Губернского», куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой железной шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях. Пожарные в касках, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами и пели нарочито противными голосами:

Нашему брандмейстеру слава!

Нашему дорогому товарищу Насосову
сла-ава!..

— На свадьбе у Кольки, брандмейстерового сына, гуляли, — равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. — Так неужто так-таки без глазету и без всего делать?

Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, — решил он, — найду. А там... посмотрим». И в *бриллиантовых* мечтах даже покойная теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку:

— Черт с тобой! Делай! Глазетовый. С кистями.

Глава вторая

Глава III. «Зерцало грешного»

Исповедовав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажио-таже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль Гос. № 1. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной *уисполкома*, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на

почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом.

Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор в свободные от всеобщей ночи дни любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую, на ватине, рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть».

Матушка присела на стул и боязливо зашептала:

— Новое дело затеял! *Опять как с Неркой кончится.*

Неркой звали суку французского бульдога, которую отец Федор с преогромным трудом купил за 40 рублей на Миусском рынке, в Москве. Отец Федор замыслил свести бульдожку с крутобоким, мордатым, вечно чихающим кобельком секретаря уисполкома, а регулярно получаемый от избранной четы приплод отвозить в Москву и с выгодой продавать любителям. При виде собачки попадья ахнула и со всей твердостью заявила, что «конского завода» не допустит. Сладить, однако, с отцом Федором было невозможно. Катерина Александровна после трехдневной ссоры покорилась, и воспитание Нерки началось. Еду собаке подавали на трех блюдах. На одном лежали квадратные кусочки вареного мяса, на другом —

манная каша, а в третье блюдечко отец Федор накладывал какое-то мерзкое месиво, утверждая, что в нем содержится большой процент фосфору, так необходимого молодой собаке для укрепления костей. От добротной пищи и нежного воспитания Нерка расцвела и вошла в необходимый для произведения потомства возраст. Отец Федор надзирал за собакой, диспутировал с видными городскими собачеями, скорбя лишь о том, что не может побеседовать с секретарем уисполкома, великим, как говорили, знатоком по части собаководства.

Наконец на Нерку надели новый щеголеватый ошейник с перьями, напоминающий запястье египетской царицы Клеопатры, и Катерина Александровна, взяв с собою 3 рубля, повела благоухающую невесту к медалисту-жениху, принадлежащему секретарю уисполкома.

Счастливым принц встретил прелестную Нерку нежным, далеко слышным лаем.

Отец Федор, сидя у окна, в нетерпении поджидал возвращения молодой. В конце улицы появилась упитанная фигура Катерины Александровны. Саженья в тридцати от дома она остановилась, чтобы поговорить с соседкой. Нерка, придерживаемая шнурком, рассеянно описывала вокруг хозяйки кольца, восьмерки и параболы, изредка принюхиваясь к основанию

ближайшей тумбочки.

Но уже через минуту хозяйская гордость, обуявшая душу отца Федора, сменилась негодованием, а потом и ужасом. Из-за угла быстро выкатился большой одноглазый, известный всей улице своей порочностью пес Марсик. Помахав хвостом, лежавшим на спине кренделем, мерзавец подскочил к Нерке с явно матримониальными намерениями.

Отец Федор от негодования подпрыгнул на стуле. Катерина Александровна, увлеченная беседой, не замечала ничего, происходившего за ее спиной. Востриков ужаснулся и, захватив в сенях палку, выбежал на улицу. Сцена, представившаяся его взору, была полна драматизма. Катерина Александровна бегала вокруг собак, визжа: «Пошел! Пошел! Пошел!» — и била Марсика зонтиком по могучей спине. Пес не обращал на побои ни малейшего внимания. Мысли его были далеко. Закричав еще издали страшным голосом, отец Федор бросился спасти свое будущее богатство, но было уже поздно. Избитый Марсик ускакал на трех ногах.

Дома произошла большая семейная сцена, уснащенная многими тяжелыми подробностями. Попадья плакала. Отец Федор сердито молчал, с омерзением поглядывая на оскверненную собаку. Оставалась крохотная надежда на то, что

потомство Нерки все-таки пойдет по уисполкомовской линии.

Через положенное время Нерка принесла шесть отличных мордатых крутобоких щенят чисто бульдожьей породы, которых портила одна маленькая подробность: у каждого щенка имелся большой черный пушистый, лежащий на спине кренделем хвост. Вместе с кренделеобразными хвостами рухнула возможность продать приплод с прибылью. Щенков раздарили. Нерку подвергли строгому заточению и снова стали ждать приплода. По ночам, а также утром, днем и вечером под окнами отца Вострикова медленно похаживал порочный Марсик, уставясь единственным нахальным глазом в окна и жалобно подвывая.

Несмотря на тюремный режим и новые три рубля, затраченные на секретарского кобеля, второе поколение еще больше напоминало бродягу Марсика. Один щенок родился даже одноглазым. Успех бродячего пса был совершенно необъясним. Тем не менее третья серия щенков оказалась вылитыми марсиками и от визитов к уисполкомовскому медалисту заимствовала только кривые породистые лапы. Отец Востриков хотел сгоряча вчинить иск, но так как Марсик не имел хозяина, вчинить иск было некому. Так распался «конский завод» и мечты о верном, постоянном

доходе.

Порывистая душа отца Федора не знала покою. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом Федор Иванычем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоился возможной мобилизации и снова пошел по духовной *линии*. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город N. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем.

Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика.

Идеи осеяли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор вдруг начинал варить мраморное стирочное мыло; наваривал его пуды, но *хотя мыло, по его уверению*, заключало в себе огромный процент жиров, оно не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем «*плугимолотовское*». Мыло долго потом мокло и

разлагалось в сенях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму.

Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной производителей, и уже через *пять месяцев* собака Нерка, испуганная невероятным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города N оказались чрезвычайно консервативными и с редким *для неорганизованной массы* единодушием не покупали у *Вострикова ни одного кролика*. Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов готовили: жаркое, битки, пожарские котлеты. Кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не больше 40 животных, в то время как ежемесячный приплод составляет 90 штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в

геометрической прогрессии.

Тогда Востриковы решили давать *вкусные* домашние обеды. Отец Федор весь вечер *при лампе* писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор *поздним* вечером налепил объявления на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений.

Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось 7 человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины, триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось 14 человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства, без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай.

Кооператив «Плуг и молот», который был уже заперт три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил *всех 240* производителей и *весь* не поддающийся учету приплод.

Ошеломленный, отец Федор притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из *дому* Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все *показывало* на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей *все его существо*.

Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь *спальной*. Ответа не было, только усилилось пение. Попадья отступила от двери и заняла позицию на диване. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец.

— Дай мне, мать, ножницы поскорее, — быстро проговорил отец Федор.

— А ужин как же?

— Ладно. Потом.

Отец Федор схватил ножницы, снова заперся